

ОБЩИННЫЙ ВЕСТНИК

*Библиотечка газеты*

**Дмитрий Цвибель**

## **СУДЬБЫ, ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ**

ПЕТРОЗАВОДСК

*Библиотечка газеты «Общинный вестник»*

**Дмитрий Цвибель**

## **СУДЬБЫ, ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ**

ПЕТРОЗАВОДСК 2005

УДК  
ББК  
Е

Петрозаводская еврейская община  
выражает благодарность

**ВОЛЬФГАНГУ БАРТЕНУ (ФРГ)**  
**(Wolfgang Barthen)**

за помощь в издании этой брошюры.

**Дмитрий Цвибель**

Судьбы, опаленные войной /Еврейская религиозная община. – Петрозаводск:  
Принт, 2005.

Е 64 с. (Библиотечка газеты «Общинный вестник»; вып.10)

ISBN

УДК  
ББК

В 2005 году отмечалось 60 лет со дня окончания Второй мировой войны – самой кровавой войны в истории человечества, принесшей неисчислимые жертвы и страдания. Дело историков, политиков, социологов изучать, как и почему появились в XX веке тоталитарные режимы, приведшие мир на грань катастрофы, почему стало возможным само существование этих режимов в центре Европы, в сердце “цивилизованного” человечества. Но важно, чтобы за исследованиями глобальных событий и проблем не исчез, не растворился человек с его болями, надеждами и тревогами.

Наше издание – лишь маленький шаг на пути к этой большой цели. В нем собраны шесть рассказов-свидетельств непосредственных участников произошедшей трагедии. Каждый из этих людей прошел свой неповторимый путь по дорогам войны, вынес свое понимание происходившего, свою память, с которой он живет.

Рассказы сознательно ограничиваются периодом Великой Отечественной войны, хотя все наши герои прожили большую жизнь после нее, и их ждали испытания, которые надо было преодолевать. Но, несмотря ни на что, они не утратили веру в человека, стали видными специалистами каждый в своей области, вырастили детей.

Будем благодарны им за их свидетельства, за возможность прикоснуться к священной памяти о пережитом; за то, что, делаясь своими воспоминаниями, они оставляют память и о тех, кому не дано было дожить до наших дней.

## Гарри Цалелович Лак

*Передо мной недавно изданная книга «Евреи Латвии в борьбе с нацизмом». Ее автор Ева Ватер, ветеран 43-й Гвардейской Латышской стрелковой дивизии, в предисловии пишет: «Я старалась восстановить каждую фамилию, даже если ничего о бывшем воине не знала, кроме надписи на могильной плите...» Идея книги – сохранить для потомков имена тех, кто встал на борьбу с фашизмом, сражаясь на фронтах войны. В книге есть данные и об известном в Петрозаводске человеке – Гарри Лаке: «**Лак Гершон (Гарри) Цалелович.** 1925, Рига. 14.06.1941 с семьей депортирован в Сибирь. С окт.1944-го доброволец, разведчик 324-го арт. полка 69-й див. на 2-м Белорусском фронте. Тяжело ранен, но остался в строю до Победы. После войны – переводчик в Пруссии. Затем научный сотрудник Инст-та геологии Карелии в Петрозаводске. Инв. войны. Награды. Живет в Карелии». Гарри Лак – единственный представитель России в списке спонсоров и помощников этого издания. За лаконичными строчками книги – человеческая судьба.*

Ночью 14 июня 1941 года в половине третьего нас разбудили стуком прикладов в дверь. Вошли пять вооруженных человек и приказали: «Двадцать минут, и вы должны быть в машине». Маме стало плохо. Несмотря на запрет охраны, удалось вызвать нашего домашнего врача. Все мечутся по квартире, не знают, что собирать. Один латыш, который нас арестовывал, шепнул отцу: «Теплые вещи берите». Когда мама пришла в себя, она сказала, чтобы расстелили большую простыню и туда собрали все, что могли, а мне – чтоб забрал в шкафу спрятанные драгоценности. Я их, не разбирая, пихнул в штаны – потом это все пошло на жизнь. За одну ночь десять тысяч наиболее известных семей были вывезены из Риги.

Эшелоны теплушек стояли под парами на товарной станции. Один уходит – подгоняют следующий. Мы оказались в теплушке человек на сорок, увидели стоявшие там железные печки и поняли, что нас повезут очень далеко. Наша теплушка была пятая или шестая с конца. Там были все: старики, маленькие дети – целые семьи, все набито битком. Вдруг слышим, как со скрежетом в вагонах открываются двери, и раздается крик: «Мужчины, выходите!» Всех вывели. Но когда подошли к нашему вагону и приказали выходить мужчинам, одна бойкая латышка сказала, что у нас мужчин уже увели. Видимо, они очень торопились и не стали проверять. Во время «путешествия», а мы ехали месяц, стали пропускать эшелон за эшелон с военными – тогда мы поняли, что началась война.

Привезли нас в Красноярск, из Красноярска в Канск, там дальше на подводах еще тринадцать километров, и мы оказались в деревне Анцирь в колхозе имени Ворошилова. Поселили нас к какой-то старушке в покосившийся дом. После Риги, после газа, всех удобств цивилизации жить в одной комнате с телятами, овцами, курами... До этого я даже не знал, что такое туалет на улице, что такое баня по-черному. Отца взяли столбы ставить, тянуть электролинии. Там мы жили в относительном спокойствии. Не зная русского языка, я с сестрой Дорой (она старше меня на восемь лет) стали работать на сенокосе.

У меня была немка-гувернантка Эльза, воспитатель с высшим образованием, и к тринадцати годам я знал немецкий язык, немецкую литературу, немецкую детскую энциклопедию и т.п. Все было по минутам расписано, я сам вставал, одевался, уходил в школу... Родителей я видел редко – иногда по воскресеньям, иногда вечером. Отец и мать были традиционными евреями, и бар-мицва была у меня в центральной синагоге (которую фашисты сожгли с 5000 евреями в 1941 году): я читал главу из Торы, и кантор был у нас дома, – все, как полагается. Но воспитание я получил немецкое. В 1938 году Гитлер стал призывать немцев уезжать из Прибалтики, и Эльза уехала в их числе. Из таких условий мы были выгнаны и оказались в Анцире.

Но трагедия была впереди – 9 декабря ночью пришли за отцом. Когда его уводили, он оглянулся на меня: «Сын, будь всегда честен!» Это его последние слова, которые я слышал...

Когда вскрылся Енисей, нас повезли в Туруханск, от Туруханска за 800 километров по Нижней Тунгуске в Туру – это водораздел между Леной и Енисеем, глухое Заполярье. Тура – столица Эвенкийского национального округа. Туда сослали в свое время «кулаков» из Украины, настоящих мужиков, теперь там жили уже их дети. Они в начале 1930-х выстроили для себя барак – два ряда горбыля, а в середине опилки. Опилки со временем осели. Нас поместили в этот барак, из которого их давным-давно выселили, так как жить там было невозможно: зимой стены промерзали. В одной комнатке в четырнадцать метров, перегороженной какими-то тряпками, жили в одной половине – мама, сестра и я, посередине печка, а во второй половине – другая семья, мать с дочкой, тоже евреи и тоже из Риги. Их отец и наш оказались в одном лагере.

Сестра пошла рыбачить в мужскую бригаду – девушка, владеющая пятью языками, с двумя высшими образованиями, закончившая консерваторию, с руками пианистки – на подледный лов рыбы! Еще в Анцире я зимой ходил в четвертый или пятый класс, немного стал уже читать по-русски, и мама хотела, чтобы я в Туре пошел в школу. Там я проучился всего три дня, и за мной пришли во время уроков два энкаведешника со штыками и вывели из класса, сказав, что таким, как я, учиться в советской школе не позволено. Меня поставили долбить вечную мерзлоту под какой-то котлован. Это в семнадцать лет! Но произошло чудо – меня взяли в мастерскую, в тепло, я стал учеником бондаря – делал бочки. Потом меня заметил механик электростанции и взял к себе в помощники.

Я понимал, что если меня не возьмут на фронт, мы погибнем, и стал ходить в военкомат, но каждый раз слышал одно и то же: «Таких, как ты, не берем!» И тут случилось самое неожиданное.

Зимой у нас с «большой землей» никакой связи не было, только два раза в месяц на лед Нижней Тунгуски садился самолет с почтой – это было событие, и весь поселок выходил его встречать. И вот в январе 1944 года из самолета выходит мужчина в ватнике, подпоясанный офицерским ремнем, на одной ноге и с двумя костылями. На ватнике у него буквально горит орден Красного Знамени. Кто он такой, никто не знал. Он с трудом поднялся наверх по крутому обледенелому берегу и спросил, где тут барак для ссыльных. Это был Зяма, сын наших соседей по комнате.

Оказалось, что когда нас ночью высылали из Риги, он был на вечеринке. Утром пришел – квартира опечатана, никого нет, никто ничего не знает. Соседи сказали только, что ночью всех увезли. 28 июня 1941 года советские войска оставили Ригу, и Зяма был мобилизован в Красную Армию, защищал подступы к Ленинграду под Лугой, был тяжело ранен. Что за подвиг он совершил, я не знаю, но в 1941 году он был награжден орденом Красного Знамени! Больше года он пролежал в госпитале, потом стал разыскивать мать с отцом и сестру. В своих поисках дошел до Калинина. Калинин, у которого жена сидела в лагере, сказал, что постарается помочь, чем сможет. И ему сообщили, где его мать и сестра, а где отец, так и не сказали. Он прилетел и оказался с нами в одной комнате.

Зашел разговор о том, что я хочу попасть на фронт, хожу в военкомат... Зяма сказал моей маме: «Здесь ваш сын будет жить, а что будет с ним на войне, не знает никто. Война – это страшно, посмотрите на меня». Мать ответила: «Пусть мой сын поступает, как сам хочет». Когда Зяма понял, что я серьезно хочу на фронт, он пошел со мной к военкому: «Что ты этого парня не можешь взять в армию? Он такой же еврей, как и я, такой же ссыльный, как моя мама и сестра, наши отцы сидят в лагере, так что ж ты не берешь? Он знает немецкий язык, латышский, хорошо воспитан – что, такие люди не нужны в армии? Посмотри на меня». И меня призвали в Красную Армию в качестве добровольца, с направлением в Красноярск и дальше в разведывательную роту.

Вместе со мной разрешили и маме с сестрой выехать из Туры. Когда мы плыли обратно по Енисею, уже как свободные люди – на теплоходе (туда ехали на барже), встретили одного генерала. Мама продала ему последнее, что осталось, – отцовские часы, швейцарские, золотые, с широким золотым браслетом, и мы на рынке в Красноярске

закупили сухари, крупу, сахар, чай. Получился почти полный мешок, и мы с Дорой поехали в 235-й лагерь к отцу.

Лагерь огромный: десять лагпунктов, и в каждом по десять тысяч человек. Постучались, окошко открылось. Дора показывает фотографию отца, говорим, что нам нужен десятый лагпункт (потом мы узнали, что это лагпункт, где уже «доходят»). Спрашиваем начальника: «Вы знаете такого?» «Нет, не знаю», – но посылку взял и посоветовал обратиться в Главное управление лагерей в Красноярске. На следующий день мы пошли в это Главное управление, где получили извещение о смерти отца, датированное 19 февраля, а был уже июнь. Так что посылку взяли, заведомо зная, что человека уже нет.

Мама с Дорой поехали на Урал к маминому брату – он работал на военном заводе под Свердловском. (У мамы в семье было четыре брата и две сестры, все они жили в Витебске. Один из братьев попал в 1937 году в НКВД, маме удалось его выкупить за десять тысяч лат золотом, и он с женой приехал в Ригу. Два брата погибли на фронте, четвертый оказался на Урале.) Я попал в Омск, в разведшколу 324-го запасного полка.

Я все время боялся только одного – не дай Б-г, чтоб мандатные комиссии, а они были похуже медицинских, не выяснили, кто я. Хотя медицинских я тоже боялся, потому что был «кожа да кости». Когда мы уже получили английское обмундирование, в последней комиссии сказали: «Ну куда его отправлять на фронт, посмотрите – это же спичка с двумя ногами и руками!» Но председатель комиссии – женщина, полковник медицинской службы – пристально на меня смотрит и спрашивает: «Ты откуда прибыл?» Я отвечаю: «Из Красноярска». «И ты очень хочешь на фронт?» «Да». Она великолепно понимала: Красноярский край – это край ссыльных, арестованных, репрессированных. И она сказала комиссии: «Вот такие бывают сильнее, у них сила духа больше», – дала мне добро, и я поехал на фронт.

Нас выгрузили ночью, в полной тишине, курить нельзя, и полубегом, полушагом мы стали передвигаться куда-то по осенне-зимней грязной земле – глина, вода, ничего не видно, сполохи канонады, гудят самолеты... Тупо передвигаешь ноги, и так километров тридцать! Нас в этой колонне становилось все меньше и меньше – отбирали, вызывали, уводили по каким-то спискам. Осталось шесть человек, и мы оказались у крытой машины – дым из трубы идет, часовой стоит. «Все, мы прибыли».

Когда я вошел внутрь, то увидел совершенно седого полковника с орденом Красного Знамени, но не на колодке, а привинченным на гимнастерку, то есть образца гражданской войны. Светло, походная кровать, одеяло, печечка, письменный стол, два ковра, уютно, красиво. Куда я попал, почему меня отобрали, почему попал именно сюда, я не знал. Какие-то бумаги шли за мной, но мне все это было неизвестно. Полковник устраивает допрос: «Откуда ты?» «Из Риги». «Откуда мобилизован?» «Из Красноярска». «Как туда попал?» Я сопровождал свою биографию сплошной ложью, только бы не сбиться. «Латыш?» «Еврей». «Русский язык откуда знаешь?» «Не знал, сейчас выучил». «Паспорт имел?» «Да». «А какого цвета он был?» У меня же паспорта не было, я его даже не видел! Вспомнил, что когда-то у кого-то видел на почте какую-то серо-зеленую обложку: «Серо-зеленого цвета!» Он подумал: «Ну, хорошо. А немецкий язык откуда знаешь?» Я сказал, что окончил шесть классов немецкой школы. «Хорошо, пойдешь в разведку». Все он великолепно понял, седой полковник Меерсон! Кто-то его, очевидно, спас в 1937 году, иначе он бы не выжил – полковник, командир артиллерийского соединения. Мое появление напомнило ему кого-то.

Позже несколько раз возникал разговор о моем переводе в штаб дивизии или штаб армии, но мой командир никуда не отпускал меня до конца войны, пользуясь своим огромным авторитетом. Он прекрасно понимал, что если я перейду в вышестоящие соединения, снова начнется проверка со стороны особого отдела, и там может открыться, откуда я. Он все обо мне знал. И лишь после войны, когда прошел слух, что идет первая волна демобилизации тяжелораненых и студентов, он спросил: «А кто у тебя дома

остался?» «Мать и сестра». «А отец где?» Больше лгать ему я не мог: «Погиб в лагере». «Я так и думал...»

Разведчики приняли меня хорошо, хотя сначала посмеялись: «А ты что, еврей, что ли?» «Еврей». «Ха-ха-ха... На фронте в разведке у нас еврей!»

На фронте меня приняли в комсомол. Это было под Вислой. 25 января началось великое наступление на Варшаву, даже сильнее, чем на Одере, – на одном километре стояло 350 пушек! Я был на командном пункте – Меерсон меня не отпускал от себя ни на шаг. За полчаса до наступления, до утренней артподготовки приехал молоденький лейтенант из дивизии – комсорг. Всем задавал помимо обычных один и тот же вопрос – какую последнюю книжку ты читал? Отвечают, что ничего не читали, нет книг, некогда, не до книг сейчас. А я ответил: «Майн кампф!» (Когда по Польше проходили, частенько книги валялись, в основном «Майн кампф», я ее и прочитал. Как сейчас помню, четвертая глава «Истории ВКП(б)» написана точно, как по «Майн кампф», – это я потом сообразил.) Тишина, он не знает, что делать. Думать долго он тоже не может, потому что ему надо убираться отсюда, пока не началось наступление. Он махнул на меня рукой, наверное, подумал, что все равно убьют, и выдал мне комсомольский билет.

В городке Фридланд, недалеко от Нойбранденбурга, уже в апреле 1945 года меня чуть не убила девушка. Эсэсовцы перед отходом всех жителей выгнали, дома стояли пустыми. Я зашел в один дом найти воды, и вдруг выходит девушка. Одетая, как тогда немецкие женщины одевались: рукава перевязаны, пояс перевязан, на ногах брюки перевязаны. Я по-немецки попросил воды и стою, оглядываюсь, автомат висит на плече. И вдруг увидел какую-то тень, как будто на меня кто-то кидается, и пуля просвистела прямо перед ухом. Девушка падает. Я оглядываюсь – стоит танкист в шлеме, и из дула пистолета еще дымок идет. «Ты что наделал?!» «Ты что, не видел, она же убить тебя хотела! Кто так ходит по немецким домам?» Подходим к ней, а у нее огромный кухонный нож в руках, она его за спиной держала...

В 1978 году в Нойбранденбурге меня наградили высокой правительственной наградой ГДР – Серебряным Знаком Чести за освобождение города (у меня семь сталинских благодарностей времен войны за взятие северо-восточных немецких городов). Когда мне его вручали, извинились, что не могут дать Золотой, потому что Золотой Знак Чести только у Брежнева.

Когда я демобилизовался, добрался до Свердловска и предъявил свои документы, то услышал: «Вы, молодой человек, кровью искупили свою вину (?!), вы тяжело ранены (у меня ранение кисти правой руки), вы можете ехать куда хотите. А сестра и мать останутся здесь». Они и оставались там до 1948 года. Оказалось, хорошо, что они в Ригу вернулись позже и с уральскими документами. А многие сразу после войны прямо из Красноярского края возвращались любыми правдами и неправдами в Ригу. В 1948 году там скопилось довольно много высланных в 1941-м латышей и евреев, и всех их выслали обратно. И из них практически никто не вернулся.

В 1953 году, когда началось «дело врачей», мои самые близкие друзья сказали страшную вещь, которую я буду помнить всегда: «Нам жаль, что ты еврей!» Больше обидеть меня не могли.

Но это уже другая история. Вообще я не люблю говорить о войне. Там приходилось делать то, о чем не хочется вспоминать. Война только в плохом кино романтична. На самом деле это трагедия для человека, даже если он и выжил.



## Меер Шолымович Фишман

*Меера Шолымовича я знал по его публикациям в карельской прессе, встречался с ним на еврейских праздниках. Это очень скромный, мягкий человек с тихим голосом. Но однажды на День победы он надел свои награды: два ордена Боевого Красного Знамени, ордена Отечественной войны I и II степени, орден Красной Звезды, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За Орловско-Курскую битву», «За оборону Сталинграда» и много других... Почетный ветеран бронетанковых войск! На мой вопрос: «Как это случилось?» пригласил к себе домой и рассказал...*

Родился я в городе Овруч Житомирской области на границе Западной Украины и Белоруссии. Оттуда меня из десятого класса забрали в летное училище в Чугуевск, а когда началась война, нас переквалифицировали в танкисты. Полный курс обучения был два с половиной года, мы учились полтора. Начали в Харькове, окончили в Тюмени.

Мой отец был хозяйственно-партийным работником. Некоторое время работал в Средней Азии, потом его перевели в Литву. Там он жил и там, на еврейском кладбище, похоронен.

Мама родом из Одессы. Во время погромов черносотенцы убили ее маму, мою бабушку, и ее родителей. Ее саму спрятали русские (или украинские?) соседи, а потом отдали в детдом.

Отец в 1920 году приехал в Одессу, остановился у знакомого и увидел, как приятная девушка моет полы. Услышав ее историю, забрал ее, и они поженились. Но из-за тяжелой жизни мама болела и умерла в сорок лет, 13 мая 1945 года. Уже после ее смерти пришло мое письмо с фронта. Она так и не узнала, что я живой.

У меня две младших сестры. Одна, Хайка, живет в Минске. Во время войны она служила в Сибирском военном округе, была лейтенантом. После войны окончила военный институт иностранных языков. Другая, Рива, работала инженером в Челябинской области в закрытом городе, где выполнялись оборонные заказы. Была три раза облучена, в 42 года стала полным инвалидом. Ее уже нет в живых.

А на фронте в Сталинграде я встретил своего двоюродного брата Песаха Фишмана; он был старше меня на три года. Встретил так... После училища меня послали в Сталинград на должность командира танкового взвода. Мой взвод – три танка – придали 44-й морской бригаде, которая обороняла завод «Красный Октябрь». Танки поддерживали ее огнем. По беспроволочному телефону телефонист передает мне: «Там, через полтора километра, тоже есть один Фишман». Я отвечаю: «Скажи этому Фишману, что моя радиостанция работает на такой-то волне». Песах связался со мной, и мы условились, что с наступлением темноты встретимся около полуразваленного дома. Но ночью были очень сильные бои, и встречу пришлось отложить на завтра. А на завтра был страшнейший налет немецкой авиации, и бомба попала прямо в его танк...

В Сталинграде я был ранен, лежал в госпитале в Саратове. В это время на Урале формировался добровольческий танковый корпус им. Сталина. Этот корпус создавали Челябинская, Пермская и Свердловская области. Он вошел в Четвертую танковую армию. Меня направили туда в разведроту, на должность замкомроты по строевой части. Это было в начале 1943 года.

На Орловско-Курской дуге, под Прохоровкой, нас кинули в самый котел... Когда около пяти утра началась битва, нас придерживали во втором эшелоне. Разведку вели визуальную. Потом наша армия включилась в бой. Это было страшнейшее побоище, столкновение двух танковых «молотов» – немецкого и нашего. Танки горят, люди горят, самолеты летают и не бомбят – не разобрать где свои, а где чужие... Помню, в небольшой речушке стоят по колено в воде наши танкисты и фашисты, дерутся, топят друг друга... Я там подбил два немецких танка. В половине седьмого подбили и мою машину. Экипажу

удалось выбраться, я бегом в свою роту – она было около штаба корпуса. Навстречу начальник штаба: «Что ты?» «У меня танк сгорел». Он кричит: «Бери мой, и давай туда – там атака захлебывается». И я туда. В полдвенадцатого дня и этот танк подбили. Но и я подбил немецкий бронетранспортер.

С этой танковой армией я прошел всю войну. Был ранен и после Орловской битвы лежал в госпитале в Туле. Голеностопный сустав был разбит. Я знал из переписки, что армия и корпус стоят под Брянском. Мне написали, чтобы я дал знать, когда можно будет меня забрать, а то из госпиталя посылали в пересыльный пункт, а оттуда – куда попало. Вскоре пришла машина, и я снова оказался среди своих боевых друзей. Осенью 1943 года меня назначили командиром Отдельной оперативной разведывательной роты Четвертой танковой армии. С ней я прошел весь остаток войны. Был снова ранен. Лежал в госпитале в Житомире. Оттуда опять забрали свои... Я восемь раз горел в танке. Обгорели ноги... Каждый раз удавалось выскочить. Когда ранили в голень, я открыл люк, вылез наполовину и потерял сознание. Заряжающий погиб. Когда дым рассеялся, ребята увидели, что я вишу, подскочили, вытащили меня из башни. Вылечился. И с разбитой ногой я до окончания войны командовал этой ротой.

Девять раз заходил в немецкий тыл. Один раз, в Карпатах это было, в октябре, мы стояли на сандомирском плацдарме, и нас срочно стали готовить к химической защите. Видимо, агентура сообщила, что немцы готовят химическую атаку. Мне дали задание: зайти в тыл и утащить у них снаряд или мину. На этих снарядах есть желтая окантовка. День мы на сопках сидели, наблюдали, откуда лучше зайти в тыл. Зашли. Саперы подрезали проволоку, и мы углубились в немецкий тыл на три километра. Устали и в лощине легли отдохнуть. Я поставил дневального, а он уснул. На нас напали немцы. Нас было семеро, их шестеро. Меня придавил здоровый фриц и стал душить. Подумал – конец. Не знаю, как это получилось, но одну руку мне удалось выдернуть, я надавил ему на глаза, и когда он обмяк, пырнул ножом, сбросил с себя и dokonчил. (Этот нож до сих пор у меня хранится.) Ночью мы взяли со склада два снаряда с окантовкой. По радио я передал, что будем выходить. У меня была американская станция «Полюс», работала в радиусе 300 километров, ларингофоны, антенна в сапоге. Если попадешь в плен, должен ее взорвать – в ней был заряд. Мы благополучно вышли. Снаряды оказались обыкновенными.

Во Львове роте была поставлена задача выйти на улицы Зеленую и Офицерскую – там было сильное сопротивление. Рядом площадь с оперным театром. Велась стрельба из пулеметов, а у меня пехота сидит на танках. Одного сразу убили. Я оглядываюсь: на балконе стоит мужчина и показывает, откуда стреляют – с тыльной стороны театра, из сквера. Там что-то похожее на дот, и из амбразуры бьет пулемет. Я приказал трем разведчикам обойти участок обстрела и бросить в трубу противотанковые гранаты. И, конечно, там никого не осталось.

Выехал я первым на улицу Зеленую. Только повернул – стоит тяжелый немецкий танк – «пантера», прижавшись к стене! Как я выстрелил, не помню, даже к прицелу не приложился. Хорошо, что снаряд был заложен в казенную часть пушки. Я просто нажал на педаль. И попал очень удачно – под козырек башни. Башня набок. И тут же механик-водитель (он умер в прошлом году) подал сразу вправо. Я башню повернул и два снаряда в левый борт всадил. Танк загорелся, и никто не выскочил. Мы с заряжающим – он же мой ординарец – вышли из танка и стоим у стенки, ни живые, ни мертвые. Танк горит. Думаем, как же они не воспользовались своим удобным положением? Я просто инстинктивно нажал...

Мы зашли во двор к колонке попить воды. Мужчина лет сорока вынес кружку, большую, медную, с двумя ручками. Мы напились и ушли. Жители запомнили и распустили слух, что я спас театр. В газете появилась заметка с моим фото. А на сорокалетие освобождения города я приехал во Львов, нашел это место, дом, зашел во двор, стою, смотрю. Какой-то мужчина разговаривает с женщиной, потом подходит ко

мне: «Вы что-то ищите?» «Да, во время войны тут немецкий танк горел». И он вдруг говорит: «А я вас узнал!» Это был тот самый дворник! На празднике мне вручили два билета во львовский оперный театр пожизненно. Я так и не воспользовался ими ни разу.

Когда отмечалось шестидесятилетие освобождения Львова, наш танк сбросили с пьедестала и все памятники залили краской. Вот тебе дружба народов! Там есть Холм славы, где похоронены наши солдаты. Один Герой Советского Союза, два моих солдата. Я написал в муниципалитет письмо, сообщил о себе, о том, что это мы освободили Львов, что там два моих солдата лежат, просил разыскать их могилы да поклониться им по-человечески.

Еще был эпизод, про который я никогда не рассказывал – все равно никто бы не поверил, что в одну ночь можно дважды перейти линию фронта, восемь немцев уложить, двух притащить! Такого не бывает, чтобы разведчика послали в одну сторону дважды. Я сам командовал разведкой, знаю. Но вот недавно в архивах обнаружили мое донесение в разведотдел штаба армии о том, что в ночь на 23 января 1945 года я дважды переходил Одер, чтобы взять языка. Сейчас это опубликовано в первом томе пятитомного издания «От солдата до генерала», выпускаемого Академией исторических наук России. Мне его прислали вместе с благодарностью за публикацию. Теперь можно и рассказать.

Я был командиром Отдельной оперативной разведывательной роты Четвертой гвардейской танковой армии. Мы вышли на Одер днем, в четыре часа. Стреляли редко. Зима была очень холодная, Одер замерз. Уже темнеть стало, другой берег не виден, и часов в семь меня вызывают: «Надо языка взять». Я отобрал пять человек, сам шестой. Чтобы сапоги не скользили по льду, один солдат, Михаил Шульгин – сибирский охотник – предложил сделать чуни. Мы распоролы шинели, намотали на сапоги и перетянули телефонным кабелем. Перешли реку по льду. Тишина. Проползли вглубь от берега метров триста. Услышали шелест. Ползем дальше. Послышался разговор, и мы почувствовали запах курева. Еще немного, и увидели четырех немцев – дозор. Трех мы сразу уложили, а одного взяли. Но когда шли назад, немцы нас засекли и открыли стрельбу. Кое-как добрались до своих. В штабе немца свалили на пол, а он оказался мертв – во время перестрелки пуля попала в него. Сидим мы на полу, сил нет. Подошел ко мне подполковник Макшаков, наливает «наркомовские» сто грамм и говорит: «Миша, на войне всякое бывает, но язык нам нужен». Я поднял ребят: «Пошли!» Мы взяли чуть левее, метров на пятьсот от того места. Ветер, лед, луна светит... Поднялись на берег, там какое-то здание барачного типа. Рядом кирпичные постройки, как сараи, без окон и деревянные навесы. Присмотрелись – нигде никакого движения. Подползли к дому, двое остались на крыльце, а мы вчетвером потихоньку открыли дверь, вошли. Длинный коридор и из него комнаты. Тепло – значит, кто-то есть. Услышали храп из-за третьей двери. Заглянули. Сидит немец, видимо, дневальный, курит. Четверо лежат на нарах, рядом аккуратно автоматы стоят. Мой солдат Логинов, кузнец (сейчас он живет в Новгородской области), рука у него – что молот хороший, «пригладил» того немца, который сидел, а остальных мы кончили ножами. Этого мы дотащили живого. Наш старшина Никонов стал Героем Советского Союза за эту операцию, а мне дали орден Боевого Красного Знамени.

Потом были Берлин, Прага... Прагу легко взяли. Война кончилась, все гуляли: чехи выкатили бочки пива, вина, появились девушки. А меня вызывают в штаб армии. Оказалось, что на Запад, к американцам, уходила группировка генерала Шнейдера. Они везли документацию последних разработок военной техники и большой золотой запас. Был приказ: «В бой пехоту не пускать. Танками, авиацией и артиллерией». Обидно – война вроде бы кончилась, все гуляют, а мы тут... Сжимаем немцев, не даем им возможность выйти. Впереди деревня, такая аккуратная, и в середине кирха со шпилем. Мы подъехали к этой деревне, у встречного чеха спросили, есть ли немцы. Он сказал, что там никого нет. Мы въехали. Я встал у этой кирхи, а остальные машины – транспортеры и танки (у меня было 29 машин разных) – по улицам, расходящимся во все стороны от

кирхи. А там, оказывается, сидели два или три смертника. Я вышел из танка и смотрю, как машины занимают свои сектора. И полетели «фаусты». Меня отбросило в сторону, только успел увидеть, что танк горит, и дальше ничего не помню. Потом меня оттащили в скверик неподалеку. Я еще увидел, что мои ребята выволокли немцев из кирхи и вешают на дереве. Это было 16 мая. Оказался в госпитале – тяжелая контузия. Друзья после войны гуляют, а я лежу. Подлечился, но на одно ухо оглох и сильно заикался. Надо дать команду, а я не могу! Так со мной всегда шел мой заместитель Николай Сорокин. Я стою рядом, а он дает команду. И никто не сказал, что что-то не так! Солдаты меня жалели, потому что я с ними по-человечески поступал, берег их, и они меня берегли. Я на рожон не лез, всегда сначала обдумывал, куда надо идти, и это нас спасало. Я долго заикался, но потом отошел.

В 1946 году дали мне отпуск, и я поехал домой. Семья жила в землянке; мамы уже не было. Ребята, девушки – сразу все ко мне пришли. Я жениться не собирался, но встретил там хорошую девчонку, которая мне еще до войны нравилась, и мы поженились. Нашу армию перевели в Германию, и в Берлине у меня родилась дочка.

...Я часто думаю: как можно говорить, что евреи на войне не воевали? Ведь на моих же глазах столько их было! Столько умных, чудесных людей! А вот распустили слух, и компартия поддержала, и стало это как бы «всем известно»... Это же ложь!

Помню подполковника Ладензона из Харькова. Умный, добрый, юморист, его все любили в армии. Это крупнейший ученый-инженер. Он в любой обстановке моментально соображал и принимал такие решения, которые обеспечивали быстрое форсирование водных преград. Погиб у меня на глазах 30 апреля 1945 года. Немцы сильно обстреливали мост. Я вышел из машины, чтобы посмотреть, с какой стороны нам лучше подойти, и тут такой огонь посыпался, что мы залегли. Ладензон засел в воронке. Я ему еще успел прокричать: «Товарищ подполковник, идите к нам, под мостом лучше!» И вдруг туда мина, и на куски...

Начхим Бедерман – чудесный человек. Очень уважали танкисты инструктора политотдела армии майора Якова Лившица. Он всегда был там, где кипели бои, поддерживал и помогал воинам. Мой дядя Эля на Северо-Западном фронте был командиром орудия. Старший лейтенант Краснов, командир второго танкового взвода, его сын Борис – младший лейтенант, окончил курсы командиров танка – это мои подчиненные. Сначала сгорел отец в танке в 1944 году. Как этот мальчишка плакал! Я его успокаивал. А через два дня и он погиб...

До сих пор я поддерживаю постоянную связь с моими однополчанами. Раньше на праздники писал 83 открытки. Сейчас – 21. Остальных уже нет, уходят... В прошлом году была встреча ветеранов нашей Четвертой танковой армии – я не мог поехать. Фронтные раны не дают покоя: колено болит, голеностопный сустав разбит, удалена селезенка с осколком, который сидел там 53 года, контузия давит... Но я не унываю, надеюсь на лучшее.

Я делал свою работу добросовестно, выполнял приказы командира. В Победе есть и моя доля. Я не хвалюсь. Но иногда мне задавали вопросы, глядя на награды: «Может, в штабе работал?» Как будто штабные работники не были под бомбами. Но я-то все время был на передовой, на самом краю!

Да, боевые награды просто так не даются. За все заплачено сполна...

## Савелий Хонанович Хенкин

*Савелий Хенкин – известный врач, более тридцати лет возглавлявший урологическое отделение Республиканской больницы, организатор урологической службы Карелии, заслуженный врач России, заслуженный врач Карелии, член правления Петрозаводской еврейской религиозной общины. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За взятие Кенигсберга», «За боевые заслуги», «За победу над Германией»; есть и другие награды.*

Родился я в Смоленске, хотя вся моя родня по материнской линии жила в еврейском местечке Рудня, что под Смоленском. Почти каждое лето вся наша большая семья собиралась там. Дед – из николаевских солдат, кузнец, прослужил лет двадцать – был очень набожным, соблюдал все еврейские законы. Поразительно, что он смог сохранить в себе это, пройдя через русскую армию. Демобилизовавшись, возглавлял хевра кадиша – похоронное братство. Мой папа – портной. Был мобилизован в армию в 1913 году, с первых дней войны был в Брусиловской армии. На фронте был отравлен газами. Еврей-фельдфебель, Георгиевский кавалер. В Смоленске папа работал у своего дяди – у них была совместная мастерская.

В доме всем руководила бабушка, у нее было тринадцать детей, и весь дом был на ней; деду было некогда – он молился. (Первые деньги, которые я получил в училище, я послал именно бабушке.) Дети стали подрастать, и моя мама помогала их воспитывать. Она была портнихой-белошвейкой. Шила на дому – ее приглашали на несколько дней, она жила у заказчиков и шила. Мама всю жизнь много помогала своим братьям и сестрам. Дома у нас тоже главой была мама, папа только добывал деньги, а все остальное – на маме. Когда дядю раскулачили – при нэпе он взял в аренду яблоневый сад, – так именно мама поехала в Москву к Калининну хлопотать за него.

Когда в 1932 году в Смоленске начался голод, мы переехали в Ленинград – там жила папина сестра, и все разместились в ее большой комнате в доме на углу Литейного и Некрасова. Позже мама купила маленькую комнатку в тринадцать метров у спившегося хозяина (как оказалось, он был из князей Милославских), потом мы переезжали несколько раз, и перед войной у нас была большая, в 45 метров, отделанная мореным дубом комната с четырьмя окнами на улице Каляева (Захарьевской). Там раньше было пограничное управление, и это, очевидно, был чей-то кабинет. Отсюда я и ушел на фронт.

Я окончил десятилетку. 21 июня у нас был выпускной вечер. Был очень хороший светлый день, все пошли гулять на Неву. Часа в три ночи мы увидели, что по Неве идут подлодки в сторону Ладоги, но не придали этому значения. Я лег спать, встал поздно, часов в двенадцать. Слышу – мама плачет. Война! Хотя тогда все думали, что это ненадолго... Паники в городе не было. Я с мальчишками побежал в военкомат, нас оттуда выгнали – не до вас, мы тут сейчас с пятидесятилетними разбираемся. Над Ленинградом появились аэростаты. Начали приходить повестки. Через два дня пришла повестка и нам: сесть транспортное средство – велосипед.

У меня с детства была тяга к медицине, думал учиться в Военно-медицинской академии. Но там набора не было, и мне посоветовали пойти в военно-медицинское училище, где готовили фельдшеров. Я показал аттестат, прошел военную комиссию, и меня приняли. Тут вышел приказ Ворошилова: «Ленинград в опасности, ни шагу назад!» Нас подняли по тревоге и послали копать окопы, одних – под Пулковку, других – под Лугу. Мне тогда еще не исполнилось восемнадцати лет. Копали мы дней пять-шесть. Начались бомбежки. Нас привезли обратно в училище, а в конце июля все училища эвакуировались из Ленинграда.

На Финляндском вокзале нас погрузили в теплушки и повезли куда-то в сторону Тихвина. Куда точно – мы не знали. Кругом уже бомбили, но в наш эшелон попаданий не было. Недели две мы тащились, пропуская эшелоны, шедшие на фронт, и оказались в

Омске. Город тыловой. Там было медицинское училище, на базе которого расположились несколько эвакуированных училищ, одно из них – Первое ленинградское медицинское училище, где я и учился. Кормили так: утром каша перловая, вечером каша овсяная и хлебная пайка. Проучились восемь месяцев вместо трех с половиной лет. Нам смогли дать только самые необходимые, элементарные знания: как оказать первую помощь, наложить жгут, развернуть медпункт. В марте 1942 года состоялся выпуск.

Меня спросили, на какой фронт хочу. Я ответил: «На Ленинградский». Направили в Москву, в штаб Западного фронта. Там уже нас начали раскидывать по армиям. Мне предложили остаться в госпитале, где был сортировочный пункт. Но я отказался, сказав, что хочу на фронт. Нас, человек восемь, послали в 20-ю армию под Волоколамск. Первоначально она стояла на границе, отступала, дошла до Вязьмы, была разбита, переформирована и оказалась под Москвой. Командовал армией генерал Крейзер. Туда я и прибыл, и меня отправили в 8-й гвардейский корпус, в 150-ю бригаду, которой командовал генерал Рохлин. (Она потом вошла в дивизию, бравшую Рейхстаг, но я был уже в другой части.) Попал в минометный полк командиром санитарного взвода: я – старший фельдшер, два санинструктора, две медсестры и санитарка.

Тогда готовилось наступление на Ржев. Мы были в блиндаже с несколькими офицерами. И вдруг снаряд попал прямо в наш блиндаж. Я не помню ничего. Нас откопали, несколько человек погибли. Когда меня доставали, мне показалось, что был очень яркий свет, и цвета какие-то невероятные! У меня отнялась речь, постоянно шумело в ушах, ночи не спал... Контузия. Хотели эвакуировать, но я отказался. Отправили в Москву на консультацию. Пробыл недолго, предложили «списать», но я опять отказался. Немного подлечили и отправили обратно в ту же часть. Я не мог говорить месяца три. Со временем речь стала восстанавливаться, но до сих пор, стоит немного поволноваться, как появляется спазм, и я не могу сказать ни слова.

Потом началось большое наступление на Ржев. Там были тяжелые бои, очень много раненых. На одном участке на реке Вазузе стоял монастырь Хлепень. Немцы свой высокий берег облили водой, и все превратилось в сплошной лед. А приказ: «Наступить!» Мы месяц не могли ничего сделать. Тогда прислали батальон штрафников. Им сказали: «Возьмете Хлепень – всех подчистую». Среди них процентов пятьдесят были уже в возрасте: бывшие военные, полковники, один генерал был, много евреев из политработников, одним словом – политические. Подослали «Катюши», и взяли! А у многих даже автоматов не было, с винтовками старыми шли, ружья противотанковые – на двоих одно. Немцы бомбили по-страшному. Реки крови. Сколько там осталось навсегда! Как меня там не убило? Наверное, судьба. (Об отношении к жизням солдатским во время войны сейчас много написано. Чего стоит, например, крылатая фраза: «Оружие добудете в бою!») Я помню, как после Ржева нас отправили на пополнение. Пополнили таджиками, а они по-русски не понимают. Когда спросили командира, как же они будут воевать, тот ответил: «Ничего, лишнюю пулю задержат!»)

Я верю в судьбу. Ведь сколько было случаев, когда, казалось, невозможно было уцелеть. Но, вопреки всякой логике, я жив! Например, шел с передовой. И вдруг прямо над головой вой, и шлеп рядом – мина! И вертится. Я как стоял, так и остался стоять, смотрю как замороженный. Она повертелась, повертелась, но не разорвалась. Я подошел, пощупал – еще горячая.

В другой раз сижу, пишу письмо маме (ее эвакуировали по Ладого в Башкирию). У меня была двуколка, чтобы раненых вывозить, лошадь, медикаменты всякие. Падает снаряд, и я чувствую, что весь мокрый, пахнет лекарствами. Оглянулся – вокруг кровь, лошадь убита, все разворочено, а меня даже не задело.

Однажды звонит командир: «Сообщили из разведроты: разведчик ранен, лежит на нейтральной полосе. Его вынести надо». «Есть!» Пополз по минному полю. У него было очень редкое ранение в шею. Обычно от этого погибают, а он дышит и клокочет кровью. Нас в училище этому не учили. Я беру пакеты, перевязал через подмышку. (Очень часто

приходилось принимать решения тут же, на месте, и решения неординарные.) Тащил я его шесть часов. Лег набок, положил его на одну ногу и так подтягивал. Но главное – надо было его вытащить вместе с оружием! Оружие ни в коем случае бросать нельзя было, любой ценой, даже ценой жизни! А поле минировано. Как на эти мины не напал, не знаю. Я о них даже не думал – мне надо было вынести раненого. Дальше уже отправили его на собачьей упряжке. Я даже фамилию его запомнил – Петухов.

Одну девушку спас, у нее было тяжелое ранение в живот. Тоже с нейтральной полосы. Вытащил я с поля боя 37 раненых! Все это под огнем, и каждый раз – особый случай, своя маленькая история...

Под Шяуляем шли тяжелые бои, и оказалось, что одни наши части ушли вперед, а те, которые не успели переместиться, остались на местах, среди них и наш минометный полк. А немцы неожиданно разгрузились совсем рядом. Нам приказ: «Ни шагу назад!» Вырыли окопчики, сидим в них, и была у нас мина противотанковая на веревке метров в пять. Нас научили: «Видишь, танк идет – и ты подтягиваешь эту мину под танк». Что от тебя после этого останется – всем понятно. Мы уже все попрощались друг с другом. Но подоспела наша дивизия, и они прямо через наши головы пошли...

Однажды я был представлен к ордену Красного Знамени. После боя, когда из минометного полка осталось человек пятнадцать, нас всех построили: «Надо решить: или всех к награде, или в партию». Ну, понятно, в партию!

После Литвы мы повернули на Кенигсберг. Ко мне подошла девушка: «Вы сейчас наступайте на Таураге. Там у меня дедушка был равнином. Прихожане отдали ему все свои ценности, он спрятал и сказал, что тот, кто останется живым, пусть заберет. Я нарисую вам место, где это все спрятано». Я отказался, сам не знал, где буду. Когда освободили город, появилось местное население. Многие были в концлагерях, кого-то прятали литовцы. Я сам видел несколько еврейских семей, которых литовцы спасли. «Воровали» их из Вильнюсского гетто и по ксендзам передавали.

Подошли к реке Прегель. Надо было переправляться. Уже была ранняя весна. На мне шуба, сумка, автомат, за спиной шины на случай переломов. Мы, несколько человек, сколотили из выброшенных шкафов плот и стали переправляться. Но невдалеке разорвалась мина, поднявшая большую волну, и мы все оказались в ледяной воде. Не всем удалось выплыть... С нами был минер, причем ему было уже под пятьдесят, так у него на спине была «плита» от миномета (оружие бросать нельзя!), это килограммов восемьдесят. Когда мы выбрались на берег, я решил, что он погиб, но он выплыл вместе с этой плитой!

Первая атака на Кенигсберг захлебнулась. Через месяц началось второе наступление. За это время сменились командующие: сначала был генерал армии Черняховский (в его честь назван город Черняховск), затем генерал армии Баграмян, потом – маршал Василевский, и на самый штурм уже назначили маршала Жукова.

Кенигсберг – город-крепость – считался неприступным. Сооружения построены еще в конце XIX века, целая система фортов, с подземными переходами, связывающими их все в единую систему. И действительно, когда уже взяли город, было непонятно, как это удалось. Каждый форт, кроме надземной части, имел еще несколько подземных этажей, многое было окружено рвами, наполненными водой. Простреливалось все вокруг. И все же взяли. Пятнадцать человек получили звание Героев Советского Союза.

После взятия крепости больших боев уже не было. (Подземный бункер, где была подписана капитуляция, находится в центре города; сейчас в нем расположен музей.) Там 25 апреля для нас окончилась война. На сказали, что в городе все отравлено, ничего нельзя было ни есть, ни пить. Под расписку: если рядовой что-нибудь съест, то расстреляют командира. Но когда комендант сдался в плен, выяснилось, что был такой приказ, но его не выполнили.

Закончилась война. Нестроевых и тех, кто старше пятидесяти лет, отправили в резерв, часть – на войну с Японией. Нас послали в Литву – ловить «лесных братьев». Они

хорошо были подготовлены для партизанской войны. Много жертв было. Так что я еще год воевал после войны.

Что дальше? Я – старший лейтенант (уже много позже имел звание подполковника медицинской службы), кадровый военный. Подал рапорт на учебу в Академию. Сдал одиннадцать экзаменов, прошел все медицинские комиссии, признали годным. Но тут мне сообщают, что повторная заочная комиссия меня забраковала. Тогда прошу уволить меня из армии, но мне говорят, что я еще могу служить. «Как же так – учиться не могу, а служить могу?» «Не разговаривать! Кругом!»

Со мной вместе поступал Герой Советского Союза, еврей (забыл фамилию). Он сказал: «Пришел приказ евреев не принимать, всех будут назад отправлять. Я-то поступлю, но я один. Увольняться тебе надо. Начальник отдела кадров медицинской службы армии генерал Волынкин сейчас навеселе, ты подойди к нему, а я его подготовлю». Я к нему. Тот: «Чего хочешь?» «Хочу уволиться и учиться». «Приходи завтра». Прихожу завтра, а он: «Кто такой?» Не помнит. Я объяснил. «Ну, ладно, я уже опохмелился, добрый. Пиши бумагу». И подписал: «Удовлетворить. Волынкин».

А уже октябрь, учеба идет. Поехал в Первый медицинский институт. К счастью, директор института был в отпуске, а вместо него профессор Хвеливицкая, еврейка. Я ей все объяснил, показал бумагу с экзаменационными отметками. «А что, не взяли еврея? Ха, ха, ха!» Тут же написала: «Принять». Вызвала декана, а та тоже еврейка. Посмеялись. Так я поступил в институт. Учился хорошо, был председателем профкома института, мой портрет висел на Доске почета... Но это уже другая история.



## Нисон-Борух Янкелевич Клейн

*Когда образовалось Петрозаводское общество еврейской культуры «Шалом», первым его председателем стал Борис Клейн. Он много сделал для возрождения общины на этом трудном первом этапе. Всегда по-доброму отзывался обо всех, с кем ему приходилось общаться или сотрудничать. И люди ему отвечают любовью за любовь. Имеет боевые награды: два ордена Отечественной войны II степени, два ордена Красной Звезды, медали «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией». Награжден множеством медалей за труд и службу в вооруженных силах.*

Родился я в Днепропетровске на Резничной улице в 1923 году. Мать родом из местечка Лоева, что недалеко от города Речицы, а отец из Херсонской губернии. Как они встретились, не знаю. В семье было пятеро детей, я старший, и все самое главное в воспитании мне дала семья, отец и мать. Учился хорошо, рос не хулиганом, но за себя постоять мог.

Мамина фамилия – Тамарова, звали ее Бася. Мама была мудрой женщиной, хотя и безграмотной, держала всю семью в руках. Отец окончил четыре класса хедера. Во время коллективизации стал кандидатом в члены партии. Так и остался кандидатом до конца дней. Родители не были расписаны, жили в гражданском браке. Я думаю, из-за того, что надо было учить детей: в то время дети рабочих учились бесплатно. Мама работала грузчиком на хлебозаводе, в голодное время каждый день имела буханку хлеба. А отец работал кузнецом в артели и считался кустарем, поэтому, если бы они были расписаны, пришлось бы платить за учебу детей. Потом, уже после войны, когда мне исполнился 41 год, они расписались. После меня и сестры у них тринадцать лет не было детей, потом родились еще трое. Я их с удовольствием нянчил.

С детства я мечтал стать моряком и с седьмого класса начал посещать кружок юных моряков во Дворце пионеров. Мне нравились морская форма, хождение на шлюпках под веслами и парусами, флажный семафор, азбука Морзе. Я единственный на всей нашей улице окончил десять классов. (Тогда уже с пятью классами брали учиться на шоферов.)

В 1939 году вышел Ворошиловский указ – после десятого класса призывали в армию или в военное училище. В 1940 году впервые был объявлен открытый набор в Военно-морское училище. В то время все это было засекречено: туда брали не через военкомат, а по спецнабору из институтов после двух-трех курсов, а тут вдруг – открытый набор. Тогда это звучало: Высшее военно-морское ордена Ленина Краснознаменное училище имени М. В. Фрунзе! Высшее образование! И практика после четвертого курса полугодовая. А сухопутные училища давали только среднее техническое образование.

Я в школе не был отличником, но учился хорошо и решил поступать. Сначала надо было пройти медицинскую комиссию – отсеяли всех негодных. Надо было принять триста человек, а приехало около трех тысяч. Потом сдавали двенадцать экзаменов за четыре дня – по три-четыре экзамена в день! Алгебра, геометрия, тригонометрия, арифметика – устно и письменно. Русский язык и литература – устно и письменно. Географию сдавали по контурной карте, чтобы было сложнее. Физика, химия, астрономия, иностранный язык (в школе я учил немецкий). Среди нас было свыше двухсот золотых медалистов, которые имели право поступления без экзаменов, но мандатная комиссия приняла решение, чтобы экзамены сдавали все. Из нашего класса поступали четыре человека, и только один не прошел по медкомиссии, а трое поступили – два еврея, один немец. Вообще среди поступивших процентов десять были евреи. И раз уж попали, так учились на совесть.

Когда я поступил в училище, мне исполнилось семнадцать лет. Отучился год и даже пошел на учебном корабле «Комсомолец» на Балтику на штурманскую практику в самом начале июня. А уже 17 июня командир отряда учебных кораблей получил приказ: за меридиан Таллинна не выходить. (Штаб флота уже знал, что будет война.) Мы галсами дошли до Выборга. Там собралось несколько транспортов, и в сопровождении морских

охотников караван кораблей пришел в Кронштадт. Войну я встретил в Кронштадте, на борту. Пробыл там всего пару дней, впервые пережил налет немецкой авиации – около двухсот самолетов. А у нас корабль учебный, более 10 000 тонн водоизмещением, человек пятьсот на борту, стрелять нечем. За налетом мы только наблюдали, грохот от стрельбы и разрывов бомб был ужасный, но на корабле потерь не было. А наша вторая рота почти полностью погибла во время перехода кораблей флота из Таллинна в Кронштадт в конце августа 1941 года. Они проходили практику на эсминце. Немецкая подводная лодка торпедировала крейсер «Киров», а эсминец подставил свой борт под эту торпеду, чтобы спасти крейсер.

Нас срочно посадили на катера, и в Питер, в училище. Старших курсантов эвакуировали, отправили доучиваться в Астрахань и Баку, а из нас, младших, была создана отдельная курсантская бригада и 5 июля брошена на Ленинградский фронт. Обмундирование было такое: верх – моряцкий, низ – солдатский, ноги – в обмотках. Мы вместе с войсками отступали до Ленинграда.

8 сентября началась блокада. В конце сентября нас повезли к маяку Осиневец, на западном берегу Ладоги. От него до села Кабоны вела Дорога жизни. Пришло несколько барж, и на них погрузили примерно тысячу курсантов, преподавателей Военно-морской медицинской академии и их семьи. Буксир пошел на Кабоны. Поднялся шторм, и эти старые деревянные баржи разбило в пух и прах, никто не спасся. (Сейчас на этом месте поставлен обелиск, и вокруг на плитах выбиты имена погибших.) А мы сидим и ждем, когда эти баржи вернутся за нами. Три дня прождали, и нас поездом отправили обратно в Ленинград – учиться, нести патрульную службу, охранять объекты.

Однажды пригнали баржу с мукой и поставили у моста Лейтенанта Шмидта, напротив училища. Я стоял на посту, охранял баржу. Рядом ящик с песком. Налет самолетов. Я – за ящик. Ни в баржу, ни в меня не попали, но я видел, как вокруг гибли люди.

Несколько раз нас выстраивали и командовали: «Добровольцы на Невскую Дубровку!» Все делали шаг вперед. Командир роты идет: «Пойдешь ты, ты и ты. Остальные – шаг назад!» И в следующий раз так же, и в следующий... Тех, кто уходил, мы больше не видели. (Когда мы собрались через 25 лет после окончания училища, в 1969 году, я спросил своего товарища Витю Поршнева, контр-адмирала Северного флота: «Мы же все делали шаг вперед. Почему нас не брали?» Он ответил: «Как же ты не понимаешь, Боря? Какой командир роты отдаст хорошего курсанта?» Вот так, из-за того, что хорошо учился, не попал в «мясорубку».)

Когда Ладога замерзла, нас решили эвакуировать. В самом начале января 1942 года собрали курсантов со всех училищ, тысячи полторы, и пешком по льду 36 километров. Дует встречный норд-ост, темнота, мы голодные, физически слабые. До Кабон шли восемнадцать часов, а оттуда еще 400 километров до Тихвина, там нас посадили в теплушки – и в Баку. В Баку нас отмыли, подлечили, откормили.

Собрали остатки трех училищ, и началась учеба. Из Баку курсантов тоже брали, но уже под Сталинград и на Северный Кавказ. А учебная практика проходила на боевых кораблях Черноморского и Северного флотов. В начале учебы было человек 800, а выпустили в апреле 1944 года всего 160 человек. Остальные – это наши потери.

В 1943 году во время боевой практики я служил на кораблях Черноморского флота – на тральщике «Защитник» и гвардейском крейсере «Красный Кавказ». После окончания училища был направлен на Балтику командиром катера СКА 12. В нашем дивизионе я был самым молодым командиром, самым неопытным. Участвовал в высадке десанта на финские острова, обеспечении боевого траления, в охране подводных лодок и кораблей, даже в торпедных атаках – для массовости. Дело в том, что наш катер был точной копией торпедного, только он уже выработал свои моторесурсы. Обычно в атаку шли четыре настоящих торпедных катера и четыре таких, как наш.

Особенно запомнилась операция в конце июля 1944 года. Получил приказ: «Товарищ лейтенант, пойдете к острову Сомерс, подойдете на пять кабельтовых (900 метров), вызовете на себя огонь финских батарей, засечете их». Это же почти на верную смерть! Но приказ надо выполнять. Я думал, что со мной пойдет опытный командир звена. Но он сказал: «Сходи сам». Потом уже, после операции, узнал, что старшины собрались в кубрике и сказали: «С пацаном пойдём, с пацаном и погибнем». Ну, пошли. Старшему на рейде флагману на СКР «Туча» передаю семафором: «Иду к острову Сомерс, прошу поддержать меня огнем», – чтобы они хоть отвлекли на себя часть артиллерийского огня. На море штиль, солнце, видимость десять миль, мы как на ладони. Скорость 32 узла. Финны нас обнаружили, начали обстрел, вокруг стали рваться снаряды. Мы поставили дымовую завесу, развернулись и из-под завесы пошли к острову. Сам стою у штурвала. Артразведчик наносит на карту огневые точки противника. От снарядов снова уходим под завесу. Так выходили раз пять. Подошел радист: «Товарищ командир, рация не работает». И тут снаряд угодил прямо в радиорубку! Мне доложили, что с левого борта пробоина. Приказываю перенести глубинные бомбы на правый борт, чтобы создать крен и вытащить из-под воды пробоину. На горизонте появились несколько финских катеров, каждый из которых гораздо сильнее меня. Я развернулся, поставил дымовую завесу – и к своим, на остров Лавенсаари. Пришел, отшвартовался. Все удивлены – уже попрощались. А мы не потеряли тогда ни одного человека! Докладываю командиру звена: «Задание выполнено». Он говорит: «Кто у тебя не награжден, представь к награде. Тебя награждать не будем – не каждую же неделю тебе орден давать». (В то время было распоряжение Сталина как можно меньше евреев представлять к правительственным наградам. А я за неделю до этого участвовал в операции по высадке десанта на финские острова и был награжден орденом Красной Звезды.) Отвечаю: «Мне бы орден жизни!» Об этой операции написали в газете «Красный Балтийский флот» за 12 августа 1944 года: «Рейд к вражескому острову».

Затем участвовал в высадке десанта на остров Гогланд – там был немецкий гарнизон. Так пока мы шли по шхерам со своим десантом, финны всех немцев вырезали сами. Мы пришли, а в бухте уже плавают немецкие трупы.

В начале 1945 года мой катер поставили на ремонт в Ленинграде. Мы жили в казарме на острове Голодай. Иногда в казарме устраивали танцы. Помню день 31 марта. Заходят две девушки. Мой друг, показывая на одну из них, говорит: «Вот, Боря, тебе подруга». Я танцор заядлый, еще со школы (и сейчас люблю потанцевать). Пригласил. Танцует хорошо, на вид интересная. Потанцевали, разговорились, проводил. Оказывается, ей 21 год, зовут Женя, круглая сирота. Всю блокаду – в Ленинграде от звонка до звонка, работает на заводе. На следующий день пригласила меня в гости. Чистенькая комнатка в коммуналке, сама аккуратная. Стали встречаться. Сделал предложение, и 13 апреля пошли в ЗАГС и расписались. (Уже шестьдесят лет живем вместе.) А 14-го я уехал в Пярну на катер.

Я стал старпомом на морской бронированной канонерской лодке. На ней стояли две танковые 76-миллиметровые башни, два зенитных орудия. 8 мая 1945 года нам была дана команда идти к вражескому берегу, где засели 22 немецкие дивизии, зажатые со всех сторон (Курляндская группировка) и произвести артиллерийский налет на железнодорожный узел и радиолокационную станцию. Подошли к 22 часам, отстрелялись и около 23 часов пошли в сторону Риги. Но только отошли, получаем приказ вернуться к берегу и весь боезапас, который на борту, до 24 часов выпустить по врагу. Пришли в Ригу уже утром 9-го, а там празднуют Победу! Ну, мы, конечно, за водкой. Но надо было заправляться. Принимаем бензин, а шланги парусиновые, протекают. К нам пришел флагманский механик Рижской военно-морской базы, инженер, капитан первого ранга. После угощения он вышел на палубу, закурил и бросил спичку. Загорелось бензиновое пятно, огонь стал распространяться. Все вмиг отрезвели! Успели сорвать с орудия брезент и накрыли пламя. Вот так день победы для нас чуть не обернулся трагедией.

После войны, в 1945 году, стали делить немецкий флот, я участвовал в приемке этого флота. Мне 22 года, эйфория после победы, в обстановке как следует не разобрался. Решил похвастать перед немолодым уже немецким офицером, который сдавал мне корабль: «Во как наш Сталин дал вашему Гитлеру!» А он мне: «Что наш Гитлер, что ваш Сталин – это одно и то же». Я его тогда чуть не побил. Только потом стал понимать, что он был прав.

Война закончилась, но я остался в строю – занимался боевым тралением на Балтике. Балтика – море сравнительно мелкое, там мины ставили любые: донные, акустические, якорные, магнитные. Моряки называли Балтику «суп с клецками». Все, как на войне, даже служба шла год за два. Подрывались. Награждали за участие в боевом тралении. Меня – нет. Тогда евреев не очень жаловали.

В 1946 году летом в Лиенае мне надо было выходить в море, а жена на борту, беременная, уже большой срок. Я ее в роддом, а сам – в город искать квартиру. Вижу – на машину грузят вещи. Говорят, что съезжают. Посмотрел – однокомнатная, подходящая. Я на корабль, беру с собой трех вооруженных матросов, и туда. Ребята помогли, что-то подмазали, что-то прибили, что-то притащили. В июне родилась дочка. У нас был большой чемодан, мы его застелили, приспособили, и он стал кроватью для дочки Ларисоньки. Моряки называли ее «наша морячка».

Я хотел расти по службе, быть адмиралом. Жив остался, мне 25 лет, амбициозный, войну прошел хорошо, имею боевые награды, знания есть. Подал заявление на высшие курсы офицерского состава, потому что без них роста не будет. Это было в 1948 году, у меня уже двое детей. Допустили к экзаменам, повез жену с детьми в Ленинград, благо у нас там была комната. Вступительные экзамены сдал лучше всех – я так хотел учиться! Приняли с двойками, а меня с моими пятерками отчислили: пресловутая пятая графа! Тогда уже разворачивалась государственная антисемитская кампания. И это после такой войны! Из нашей семьи погиб 21 человек: папины сестры, мамины сестры, их дети. Старший брат отца Моисей отказался бежать из Днепропетровска, сказав, что немцы его не тронут. Так и погиб с женой и двумя девочками. У папиной младшей сестры Хаси дети могли убежать, когда их уже вели (это рассказали очевидцы), но она сказала: «Нет, мы будем все вместе»...

Мне как будто обрезали крылья, я очень переживал! Вернулся на флот, правда, с повышением: был помощником командира корабля – стал командиром корабля на электромагнитных тральщиках. До 1951 года – в плавсоставе, после, по состоянию здоровья, – в береговых частях. В августе 1957 года направили служить начальником морского клуба ДОСААФ в Петрозаводск. С января 1959 года работал в Беломорско-Онежском пароходстве и закончил трудовую деятельность в 1998 году в возрасте 75 лет.

Времена не выбирают, и я на жизнь не жалею...

## Ефим Лейбович Левин

*Когда в Петрозаводске образовалась еврейская религиозная община, Ефим Лейбович стал ее членом. Он – единственный человек в нашей общине, умеющий читать Свиток Торы, и так бегло и правильно, что приезжающие в синагогу раввины только удивляются. В общине Ефим Лейбович – непререкаемый авторитет в области халахи. Он сумел сохранить в себе и пронести через все жизненные испытания великие ценности и традиции нашего народа, заложенные в детстве его отцом (вспомним: «...и расскажи сыну своему»), чтобы передать их следующим поколениям. Нашей общине есть кем гордиться!*

Родился я в 1916 году в местечке Струмень, что на реке Сож (приток Днепра), недалеко от Гомеля, в ортодоксальной семье. Отец, Лейба Меерович Левин, был шойхетом и моэлем (ритуально резал животных и делал обрезание). У него было полное собрание Талмуда, и все вечера он просиживал за ним. Много денег собирал на ешиву. Мать Хася Янкелевна – домохозяйка. В семье было семнадцать детей, но многие умерли. Осталось пятеро – три девочки и два мальчика. (Уже после войны одна моя сестра уехала в Америку, две других – в Израиль.) Дни рождения у нас все перепутаны – младшая сестра стала старшей... Дети ведь рождались каждый год, так записывать метрики ездили раз в три-четыре года в Корму, где был казенный раввин. Мы ведь дни рождения не отмечали, так что эти записи нам были не нужны. Но у меня единственного все правильно записано, даже день брит-милы.

Из-за постоянных погромов и бандитских нападений – местечко переходило из рук в руки то к белым, то к красным, а громили все – семья перебралась в город Сновск близ Чернигова. Перед этим отец чудом остался жив: его хотели забрать в армию, даже не знаю в какую, и когда за ним пришли, он спрятался на чердаке. Его искали, пытались зажечь свечи, чтобы разглядеть что-нибудь в темноте, но свечи каждый раз гасли! Так и уехали. Если бы нашли – расстреляли.

В Сновске была большая еврейская община, три синагоги и ешива (сейчас от всего этого ничего не осталось), которой руководил ученик известного гаона Хофец-Хаима из Бердичева, считавшегося святым. В пятилетнем возрасте меня отдали учиться в хедер к ребе Ваксману, который собрал шестнадцать детей от пяти до восемнадцати лет. Учили Хумаш, лошн-кодеш и дикдук (ивритскую грамматику). Однажды мы пришли, а у дверей стоит милиционер и никого не пропускает. Хедер закрыли, и со мной стал заниматься Шимон Требник, впоследствии руководивший ешивой в Москве (его брат Нохим Требник после войны руководил ешивой в Париже). Он учил со мной Хумаш с комментариями Раши, Шульхан Арух и Гемару. У меня до сих пор хранится Танах, подписанный им мне на память.

Тогда было принято, чтобы каждая семья раз в неделю кормила ешиботников, которых отправляли на учебу из других мест, и у нас дома их тоже принимали. В семье говорили только на идиш, русского я не знал. Отец не хотел, чтобы мы учились в школе, потому что там занятия были и по Субботам, и пришлось бы нарушать Субботу, хотя сам помог дочери Шимона окончить институт. (Вообще мой отец был известным общинным деятелем, и когда он скончался в 1966 году, זיכרונו לברכה, по израильскому радио даже сообщили о его кончине.) Дети других раввинов учились, а мы – нет. Я очень завидовал своим товарищам, которые учились в школах и имели возможность поступать на работу и на учебу в институты, а я был совершенно неграмотный, даже не мог расписаться по-русски и вместо подписи ставил черточку. Из-за того, что мы не учились в школе, отцу приходилось платить довольно крупный штраф, но он стоял на своем, а русскому решил обучить нас другим способом: нанял бывшую помещицу, и я с младшим братом три раза в неделю ходил к ней домой заниматься языком. Но она сама оказалась малограмотной и учила нас довольно оригинально: ставила меня посередине комнаты – я изображал солнце,

а брата водила вокруг – он изображал Землю – и приговаривала: «День да ночь – сутки прочь». Так что за год такой «учебы» мы не научились даже читать по слогам.

Поскольку отец был служителем культа, он был лишен права голоса, и поэтому для нас, детей лишенца, были закрыты все дороги к учебе, работе и даже прописке и жизни в крупных городах. И все же в пятнадцать лет я без разрешения родителей практически сбежал из дома в Гомель, за 90 километров от Сновска. Там жили три моих тетки, но я устроился в общежитии. Мне удалось скрыть свое социальное происхождение и устроиться учеником слесаря на электростанцию. Там меня как совершенно неграмотного направили учиться в начальную школу по ликвидации безграмотности.

И тогда я понял, что мне обязательно нужно учиться. Просиживал над школьными учебниками дни и ночи. Работавшие со мной на электростанции посмеивались: «Вот хитрые евреи: вместо того, чтобы выпить с нами, все учатся чему-то». Через год, сдав экзамены за шесть классов, я поступил в фабрично-заводское училище и выучился на машиниста паровой турбины и электромонтера. После этого уехал жить к сестре в Лосиноостровск, под Москву. Там работал электриком и продолжал учебу в вечерней школе и на рабфаке.

В июне 1940 года Мытищинским райвоенкоматом я был призван на действительную военную службу, которую проходил в 112-м запасном стрелковом полку 52-й стрелковой дивизии 14-й армии в Мончегорске Мурманской области. Был там первым номером на станковом пулемете «Максим» в третьей пулеметной роте. В ночь с 21 на 22 июня 1941 года я дежурил у пулемета на зенитном станке, и мне командир взвода сказал, что началась война, вражеские самолеты летят на Мурманск, и если мне удастся сбить самолет, то сразу получу орден. Но самолеты летели не через нас. Полк подняли по тревоге, и утром 22 июня мы уже оказались на фронте, на Мурманском направлении в районе Западная Лица.

К войне мы были совершенно не готовы. Немцы летали прямо над головой на бреющем полете! Своих самолетов мы не видели. Только мы переправились через залив, наши кухни разбомбили. Четыре дня голодали, пока не подвезли новые кухни, питались голубикой. Никакого руководства мы не чувствовали, перебивались, кто как мог. Наш старшина заставлял надраивать котелки до блеска (иногда мы старались даже не кушать, чтобы только не возиться с этими котелками). А солнце тогда не заходило, и при налетах авиации котелки эти блестели, выдавая нас. Самолеты появлялись неожиданно из-за сопки – отбомбят и сразу вверх, мы не успеваем даже стрелнуть. Лишь после нескольких таких налетов, стоивших многих жизней солдатских, нам разрешили замазать эти злосчастные котелки. Однажды привезли пополнение, так их не успели даже переписать, как всех перебили. Вот так и пропадали «без вести». Никто не знал, куда делись. Настолько все было неорганизовано, что только месяцев через пять началась хоть какая-то оборона.

Мы держали оборону в Западной Лице на берегу. Кроме бомбежек, нас обстреливали из-за сопки минометами. Когда мины разрываются в скалах, раздается такой жуткий звук, что я его помню до сих пор. Я командовал отделением станковых пулеметчиков. У нас были «Максимы» на станке Соколова, на колесиках и на зенитном станке. И вот мина разрывается совсем близко от нашего пулемета. Второй номер, лежавший рядом со мной, убит, я серьезно ранен осколком в левую руку. А я – левша! На маленьком рыболовном сейнере меня перевезли в Североморск. Помню, как в Североморске ходил политрук и просил, чтобы мы не рассказывали нашим, что видели там, на войне.

Сначала лечили в Мурманске. У меня было очень много осколков. Затем повезли поездом до Кандалакши, а оттуда по Белому морю в Архангельск. Врачи плыли с нами и делали операции прямо на ходу. У меня начиналась гангрена, и мне отняли палец. Обезболивающих средств не было, резали по живому! Меня четыре человека держали... По пути попали под бомбежку. Пароход получил серьезные пробоины, начал тонуть, но нас успели снять на другое судно. «Купание» не прошло даром – к вечеру рука сильно

опухла, появились симптомы заражения крови, и врачи приняли решение ампутировать руку. Но ведь это моя главная рука, которой я мог работать! Да еще опять без анестезии! Я решил, что лучше смерть, чем такая инвалидность, сбежал и спрятался в трюме. Просидел там больше суток. И вдруг заметил, что опухоль спадает, цвет кожи меняется, и выбрался наружу. Врачи не верили своим глазам, говорили, что я родился в рубашке. Долечивался уже в Кузино, в Свердловской области. Оттуда меня и еще четырех раненых комиссовали в Ижевск, где комплектовались воинские части для отправки на фронт. В поезде мы все пятеро заразились сыпным тифом, нас высадили на какой-то маленькой станции и поместили в местной больнице в одной палате. На спинках кроватей повесили бирки с указанием фамилий, имен и отчеств. Болели мы очень тяжело, большую часть времени находились без сознания, хотя, как потом рассказали врачи, мы вставали и даже бродили по палате и не всегда попадали на свои койки. Однажды утром лежавшего на моей койке нашли мертвым и похоронили, установив на могиле столбик с дощечкой, где значились мои фамилия, имя и отчество. В моих вещах нашли адрес родителей, место эвакуации которых я узнал в госпитале, и сообщили им о моей смерти (потом меня свозили на кладбище и показали мою могилу). Через полгода я узнал, что отец оформил пенсию как на потерявшего сына.

Но сына он все же потерял, только не меня, а Иосифа. Когда под Киевом часть, где служил Иосиф, полностью разгромили, оставшиеся в живых бойцы разбежались. Иосиф оказался рядом с родным городом Сновском и решил добраться домой. Дома, конечно, никого не оказалось, и он зашел переночевать к русскому соседу Артему, поскольку дружил с его сыном Иваном. Его очень приветливо приняли, накормили. Но оказалось, что Иван служил в полиции, и утром он Иосифа сдал немцам, и его вместе с другими евреями (около ста человек) расстреляли в лесу рядом с жилыми домами.

В Ижевске медицинской комиссией я был признан годным к нестроевой, и меня направили на конвойно-караульную службу. Нам сдавали запломбированные вагоны с оружием и боеприпасами на Ижевском оружейном заводе, и мы сопровождали их на фронт, не имея права отходить от состава ни на шаг, даже когда его бомбили! В таких случаях мы ложились под вагоны на рельсы или рядом на откос, и пару раз все это взлетало на воздух, но я остался жив.

Потом меня перевели в Верхотурье в Севураллаг, севернее Нижнего Тагила, где мы охраняли заключенных взамен стрелков, годных к строевой службе, которых отправляли на фронт. Там сидело все прибалтийское правительство, их гоняли на работу в лес. Так жалко их было! Был там и лагерь бытовиков, бандитов, так охранники боялись туда заходить – их просто уничтожали. А я как-то заходил, смог с ними договориться.

Через год у меня резко ухудшилось состояние левой руки, и я демобилизовался в звании лейтенанта, имея орден Отечественной войны и медали. Экстерном сдал экзамены за полную среднюю школу и в 1944 году поступил в Свердловский индустриальный институт. Когда узнал, что мои родители находятся в эвакуации в Шахринау, вблизи Сталинабада, поехал к ним и поступил на работу в находившийся тогда там Одесский консервный институт. С этим институтом, как только освободили город, переехал в Одессу. Там даже еще оставались улица Гитлера (Преображенская), улица Муссолини (Карла Маркса)... Перевелся в политехнический институт на электротехнический факультет.

В Одессе я встретился со студенткой университета, и через год в Щорсе (бывшем Сновске) у родителей по всем законам еврейской традиции была устроена хупа, с написанием ктубы. А еще через год, в 1948 году, уже по пути следования в Петрозаводск, мы заехали в Щорс, где сделали обрезание сыну, родившемуся в Одессе, и названному в честь моего младшего брата Иосифом (сейчас он живет со своей семьей в Израиле, там же живет моя старшая дочь Роза со своими детьми и внуками).

Я был направлен на работу на петрозаводский военный завод п/я 14 (ныне завод «Авангард»). Когда приехал в Петрозаводск, то был единственным инженером-

электриком с профессиональным образованием. Был инженером, заместителем начальника энергомеханического отдела, начальником отдела, начальником центральной лаборатории. Когда завод получил заказ на постройку кораблей специального назначения, меня назначили старшим строителем электрической части этих кораблей. Через двенадцать лет перешел в институт «Карелгражданпроект», где проработал 25 лет. Десять лет преподавал в строительном техникуме. Мой общий трудовой стаж – 65 лет.

Война страшно прошла по моим близким. Все мои многочисленные родственники жили в Белоруссии. Там же везде еврейские местечки: Струмень, Городец, Корма, Рогачев и множество других... После войны остались только могилы. В Городце жил брат отца Ицхак, был там бухгалтером и председателем сельсовета, его долго не трогали, он еще работал при немцах. Потом ему вырезали на спине шестиконечную звезду и расстреляли. Тетю с тремя детьми закопали живыми. Там у меня более ста человек родственников погибло! Всех уничтожили. Это уже соседи рассказывали. Никто не смог убежать. Сейчас, когда называют число погибших, мне кажется, что их гораздо больше. Однажды на церемонии Памяти жертв Холокоста читали списки уничтоженных в этих местах, составленные в Мемориале Яд ва-Шем, так там большинство – мои родственники или знакомые... Остается только читать по ним кадиш.



## Семен Ионович Бекенштейн

Величайшая боль – такая,  
о которой сказать невозможно.  
Пословица

*Каждая жизнь уникальна. И все же есть люди, на долю которых выпало стать олицетворением народа, эпохи, своего времени, мужества. Люди-символы. Нечасто случается встретиться с таким человеком. А может быть, мы просто в сутолоке дней своих часто не замечаем их? Нам кажется, что они где-то далеко? Семена Ионовича Бекенштейна я встретил, когда он приводил в порядок только что выделенное помещение для общества «Шалом». Он произвел впечатление человека энергичного, очень аккуратного, с чувством юмора. Когда он ушел, мне сказали: «А ты знаешь, что этот человек был в Освенциме?»*

*Освенцим!.. Это слово – как пощечина, как плевок всему человечеству, человечности, каждому живущему. Это так не вязалось с жизнерадостным обликом Семена Ионовича, что я от растерянности задал идиотский вопрос: «На экскурсии?» Да, три года – с 1943 по 1945 – длилась эта «экскурсия»! И вот мы сидим в уютном помещении «Шалом», и он рассказывает, рассказывает... Говорит очень просто, обыденно, но сколько всего стоит за этим! Да разве можно пересказать жизнь? Лишь малая толика его рассказа сегодня перед вами.*

Родители мои родились в Белостоке: отец в 1895, мать в 1897 году, там и жили. Отец – кожевник, его отец был сапожником, три брата – сапожники. Шили модельную обувь. У брата отца была мастерская на центральной улице города – улице Сенкевича, и они там работали. Отец работал на кожевенной фабрике, зарабатывал 5-8 злотых в день, можно было хорошо жить. Был мастером, но и сам работал.

Я родился в 1922 году, закончил четыре класса начальной еврейской школы – хедера, на идиш. Учили Гемару, Талмуд, Хумаш. Потом шесть классов другой школы, тоже еврейской. Содержал ее Гельман, директор школы (что-то за меня платили, но немного). В польскую народную школу евреев не брали и в государственные польские гимназии тоже. Правда, иногда, если отец очень богатый, в них можно было попасть, но очень редко. Я поступил в еврейскую гимназию, а потом родители перевели меня в еврейское ремесленное училище. Преподаватели были высшего уровня. Математику и физику преподавали два брата: у них были изданы свои учебники. (Впоследствии, в 1959 году, я закончил двухгодичные курсы ленинградского института повышения квалификации по специальности «техник-механик» на отлично: 23 предмета – 23 пятерки. Все это заложено было в еврейском ремесленном училище.)

Занимался боксом, был в Маккаби, что совсем нелишне – антисемитизм процветал, был хуже, чем в России, и частенько приходилось постоять за себя, да и за других тоже. Тренером был Кушнер, который несколько лет держал второе или третье место в Польше в своей весовой категории. Проучился я год, и началась война.

В Белосток вошли немцы. Бесчинствовали. Пробыли неделю и ушли. Через две недели вошли русские, их тогдашние братья по оружию. И стали советские порядки: кто побогаче – в Казахстан, час на сборы и поехали. Национализировали все предприятия. У дяди была велосипедная мастерская, ее отобрали, отдали хлебокомбинату, но дядю оставили работать в нем главным механиком. Он взял моего младшего брата к себе учеником, и он стал токарем по металлу. Приехало много русских гражданских. Кино, театр – бесплатно, агитация. Говорили, что освободили часть России. Поляки ненавидели русских. Но русские не издевались над евреями. Меня направили учиться в железнодорожный техникум. Преподаватели были русские военные. Я попал в группу

помощников машиниста паровоза. Затем перешел в механико-энергетический политехникум и проучился там год.

В субботу 21 июня 1941 года сдал последний экзамен по физике, а назавтра фашисты напали на СССР. Боев в городе не было, бомбили только железнодорожную станцию. Через неделю, в пятницу, вошли немцы. Сразу же сожгли 29 улиц в еврейском квартале и большую синагогу вместе с находившимися там евреями – более тысячи человек. К этому времени в Белостоке жили 50 тысяч евреев, а в области 350. В первой половине июля немцы уничтожили более шести тысяч. Еврейский район обнесли забором, установили двое ворот, поставили охрану, согнали туда всех евреев и образовали гетто. Все в возрасте от 15 до 65 лет обязаны были работать на немецких предприятиях, получая 500 г хлеба в день (позже 350 г). Все еврейское имущество было конфисковано.

Внутри гетто было образовано самоуправление. Мы жили недалеко от ворот, метрах в двухстах, вчетвером, а когда всех согнали, стали жить двенадцать человек. Выпускали и впускали из ворот только по пропускам. Я работал вместе с отцом на фабрике кочегаром. На груди и на спине – желтая звезда. Ходить по тротуару не разрешалось – шли по проезжей части рядом с тротуаром. В магазины входить запрещалось. В феврале была проведена первая «акция»: тысяча евреев были убиты и десять тысяч отправлены в Трешлинку.

Утром 2 февраля 1943 года (мы полтора года уже жили в гетто) всех стали выгонять из домов на улицу. Я попытался спрятаться в подполье какого-то еврейского дома, но меня нашли, вытащили наружу и погнали к колонне на улицу Фабричную, где уже были отец, брат и дядя. Мама и другие родственники находились где-то в этой же колонне, но мы так и не увиделись. Подошла подвода, с нее стали бросать буханки круглого хлеба. Я говорю отцу: «Папа, залезай на подводу, помоги хлеб кидать, а там и уезжай с подводой». Папа сказал: «Прощай», и пошел. Он уехал с подводой, и больше отца я не видел. (Позже в Освенциме я узнал, что он погиб во время восстания в гетто в своем родном городе.) Всех поставили «пятерками», чтобы легче было считать, и погнали на железнодорожную станцию. Загнали в вагоны, и мы провели там ночь, а утром тронулись, не зная куда. Не кормили, ели только то, что было у каждого. Когда прибыли на место, нас разделили: женщины с детьми, старики, инвалиды – налево, и сразу же подъезжает машина со сходнями сзади на всю ширину кузова, чтобы по ним подниматься, и увозят. Куда увозят, мы уже предполагали... Молодые, до двадцати – отдельно. Всех опять строят «пятерками». Младший братишка мой (1927 года рождения) стоит крайний справа, я второй. Немец пальчиком распределяет, кому куда. Подошла наша очередь. Я держу брата за руку. Говорю: «Я токарь, мой брат – тоже». «Возьми его с собой». Мы бегом к кучке молодых. Я говорю брату: «Пейсах, пока мы живы. Надолго ли, не знаю, но крепись». И здесь же встретили дядю Янкеля, младшего брата отца. Нас погнали бегом, пятерками в карантинный лагерь в Биркенау (Бжезинка по-польски), где мы пробыли шесть недель.

Лагерь назывался «цыганским», потому что как-то загнали туда цыган и через несколько дней всех уничтожили, а название осталось. Я спросил у одного чеха: «Вы давно здесь?» – «Три месяца, но вы вряд ли столько проживете». Оптимизма это не прибавило. Сразу по прибытии в лагерь нас погнали в баню. 123 мужчины и отдельно 97 женщин – всех оставшихся в живых. Первая мысль: «В крематорий». Но нет, это была баня. Там тоже издевались: давали или холодную воду, или кипяток. Выдали одежду с двумя треугольниками в виде моголендавида на груди и на брюках справа: треугольник вниз углом – красный, вверх – желтый с номером. Мой номер 100611, который выкололи на предплечье левой руки здесь же, в бане. На второй день утром всех опять погнали пятерками. Остановили перед горой трупов, метра три высотой, не похожих на людей. Пошел снег большими хлопьями, и мы стали слизывать его друг у друга с плеч. Простояли часа два, потом команда: «Правое плечо вперед!», и обратно в барак. Эту картину я не забуду до конца дней своих. После этого я хотел повеситься. У меня был

ремень, уже присмотрел подходящее место. Но ночью подумал: «А на кого я брата оставлю?»

В бараке, метров 30 длиной, мы втроем с братом и дядей без матраца и одеяла на одной кровати, а они были трехъярусными, значит, на каждой по девять человек. Во время карантина постоянно проводили «селекцию»: выстраивали всех в один ряд, идут пара ээсовцев и врач, который щупал сонную артерию, проверял между пальцами рук, нет ли чесотки. Заставляли выжаться от земли: если не смог – таких больше не видели. Одна из таких проверок оказалась последней для моего дяди Янкеля – не успели даже попрощаться. Позже я встретил в лагере одного русского военнопленного (он был печником, поэтому и выжил), который рассказал, что их было сорок тысяч, а осталось человек десять. На карантине над нами издевались – заставляли носить песок: гора песка, кладут в шапку или в подол рубахи лопату или две песка, и надо отнести километра за полтора-два и высыпать. Рядом тоже гора песка. Берем из нее и так же несем обратно. И так целый день. Другой раз так же кирпичи таскали. Или выгоняют из барака, строят, заставляют валяться в грязи. Били. Евреи многие не выдерживали, быстро «доходили», погибали. Через шесть недель опять усиленная проверка здоровья, кто годится – на работу, а кого в расход. Брат высококонький, худенький, его оставили там, а меня перевели в Освенцим, в центральный лагерь (там было много лагерей). От брата никаких известий нет, но через полтора года я узнал, что всех, кто остался в «цыганском» лагере, отправили на лесоразработки в горы и там перестреляли, как бы при «попытке к бегству», так там было объявлено. От возчика, работавшего в лагере, я узнал, что жену дяди Моисея, красавицу, оставили в женском лагере для медицинских опытов. Дальнейшую ее судьбу я не знаю.

В Освенциме я попал в 22-й блок на второй этаж, две недели ходили голышом, как новоприбывшие, потом перевели в блок 14-а. Выстригли нам на голове машинкой полосу, ее называли «Лаузенштрассе» (улица для вшей). И именно с этого момента началась моя жизнь в Освенциме.

Меня отправили работать на кожевенный завод за три километра. Попал на общие работы. Капо (начальник сотни) был немец Отто, с «зеленым треугольником», бандюга. Он меня однажды со всего маха сзади ударил лопатой по голове. Я закачался, но не упал, а то бы меня добились. Стал «доходить». Потерял счет времени. Меня спас капо Ливач — немецкий поляк. Работал я на разборке кирпичей после американской бомбежки. Нас выстроили, и капо Ливач говорит, что надо сделать замок, и показывает какой. Из всех только я взялся за это. Он меня отвел в мастерскую. Оказалось, что надо было сделать замок для задней дверцы кареты, чтоб она захлопывалась и открывалась ручкой без ключа. Карета была шикарная. Я осмотрелся. Там был немец с «красным треугольником», значит – политический. Взял я у него инструмент и сделал замок и даже врезал его, хотя меня не просили об этом. Замок я должен был сделать к вечеру, а я его даже вставил, и еще осталось время. Беру веник и начинаю убирать вокруг. Нам нельзя было не работать – за это наказывали. Входит капо Ливач: «Кто тебе велел этим заниматься? Я ему говорю, что все сделал. Он идет к верстаку: «А где замок?» – «Я его врезал». Он подошел к карете и давай дверцей хлопать. Остался очень довольным. (А он был кузнецом-художником, золотые руки.) «Приходи, – говорит, – завтра на работу прямо сюда. Я скажу капо Отто, что ты теперь будешь работать у меня». Это спасло мне жизнь. И я начал работать в кузнице и проработал до 18 января 1945 года.

Со мной работали еще человек пятнадцать, не только евреев. Запомнил одного еврея из Франции – он в горне жарил лягушек. Один поляк (он был здоровее меня) два раза пытался меня задушить: «Ты Иисуса Христа распял». Потом стал «лепшим» другом: он видел, что мои руки к чему-то годятся. Мы с ним вдвоем токарный станок восстановили, строгальный станок. Был еще Давид, потомственный кузнец. Мог отковать птичку – каждое перышко видно! Я даже не предполагал, что такое возможно. Он попал в лагерь вместе со мной. (Потом я его встретил в Румынии. Он предлагал ехать с ним в

Израиль. Когда узнал, что я собираюсь в СССР, чтобы попытаться найти своих, сказал: «Куда ты едешь? Там такие же антисемиты, как в Польше».) В лагере хуже всех относились к евреям и русским. Русские были с «черным треугольником» – это означало «вредитель». Им доставалось больше, скажем, чем полякам, а евреям – больше, чем русским: табель о рангах. Ко мне все относились, в общем, неплохо.

Кормили нас так: литр супа, 300 граммов хлеба. Иногда в конце недели хозяин давал за работу кому одну, кому две, кому три марки, на которые можно было купить в магазине лагеря миску супа, сигареты, зубную щетку, зубной порошок, туалетную бумагу. Я работал и в выходной. Там был один немец кузнец, мы с ним ковали подковы. Делали по тридцать подков на двоих, научился подковывать лошадей, чинил брички. Была столярная, обувная мастерская, кожевенная фабрика. Была швейная мастерская, где ремонтировали эсэсовскую одежду и одежду заключенных. Была «Канада» – там работали женщины, они проверяли привозимую одежду – пороли ее, искали спрятанные драгоценности: золото, бриллианты, в обуви тоже искали. Была прачечная. Привозили стиральные машины, я их собирал, проверял, пускал в работу. Привозили горы волос из крематория. Я не знаю, что из них делали. Волосы как будто живые – в них находили брошки, расчески, гребенки, шпильки. В одном отделении делали щетки, может, из волос? Там работали женщины. Лагерь, где мы жили, не бомбили, бомбили там, где работали. Во время бомбежек нас загоняли под зеленую сетку. Однажды меня сильно ударили ребром доски по плечу и что-то перебили, и я с тех пор плохо слышу на одно ухо.

После того, как советские войска начали наступление на Краков, меня эвакуировали в Маутхаузен. Добирались пять суток пешком и трое суток в вагонах. Выдали по буханке хлеба, 200 граммов маргарина, кружок колбасы и мазнули на хлеб повидлом. Шли «пятерками», по бокам охранники с оружием и собаками. Сзади время от времени слышались выстрелы: это пристреливали отставших, упавших, не могущих идти дальше. Потом загрузили на платформы с бортами, но без крыши. Стояли так тесно, что можно было поджать ноги и так висеть. К концу путешествия осталось в живых меньше половины.

В Маутхаузене после карантина направили в лагерь Гузен-2. Там я проходил под № 118549. На работу возили по УЖД, охрана шла рядом – в основном это были украинцы. Работали на авиационном заводе «Мессершмитт». Завод был спрятан в Альпах в штольнях, и американцы не могли его бомбить. Условия ужасные: ежедневно с работы уносили по двенадцать-пятнадцать мертвецов. Занимался проверкой деталей, присылаемых с других заводов. Бригада была интернациональная: еврей инженер из Франции; Владимир Игумнов — морской летчик из Ленинграда; летчик румын Борис, два инженера-автомобилиста с Украины. Командовал нами вольнонаемный австриец, который к нам неплохо относился.

1 мая я заболел, как потом оказалось, тифом, но на работу ходил, иначе прикончили бы. 5 мая 1945 года утром не будят, на работу не гонят. Высунулись в окошко – на вышках охрана перебита: пролетел американский маленький самолет и перестрелял их. Заключенные стали ловить оставшихся охранников и расправляться с ними. Появились винтовки, автоматы. Лагерь заняли американцы. А мне становилось все хуже, и я попросил, чтобы меня доставили в американский лазарет. Несколько дней был без сознания. Когда пришел в себя, все очень обрадовались. Американцы кормили очень хорошо. Всего много, вкусно, питательно, красиво. К тому времени, как я немного поправился, оказалось, что русских уже отправили, (куда – это уже другая история), и я решил с товарищем из моего города поехать в Польшу, а оттуда уже в Россию. Доехали до Остравы в Чехословакии. Объявили, что поезд стоит сутки. В городе встретили советского подполковника. Я сказал ему, что мы граждане СССР, хотим на родину. Он объяснил, куда надо обратиться. Направили нас в лагерь советских граждан, поселили в общую комнату.

Через некоторое время меня вызвали на допрос. У меня была бумага от американцев – освобождение из лагеря на английском, немецком и польском языках. Следователь посмотрел ее и в стол, и больше мне не отдал. Я рассказал все, как было, а он кладет пистолет на стол: «Скажи лучше, как Родине изменял! Раз остался жив, значит изменял... Ну, ладно, я буду писать протокол, а ты посиди», – и запер меня в находящуюся тут же каморку-карцер с железной дверью. Сколько я там пробыл, не помню. Потом выпустил меня и дает подписать, что он там написал. Я прочитал и разорвал бумагу. По этой бумаге меня могли расстрелять! Он переписал бумагу, уже как я рассказал, и я подписал.

Недели через две приехал капитан вербовать в рабочий батальон. Нас возили на работу в Польшу, Германию, Венгрию, Румынию, Австрию – косили, собирали урожай и т.п. Денег не было, только кормили. И всех постоянно гоняли на допросы, а меня – нет.

1 января 1946 года нас посадили в поезд, и месяц мы ехали, опять не зная куда. Приехали в Карелию, в Сегежу, там разделились, и человек сорок пошли пешком по Выгозеру 40 км до острова рыбаков. Ночевали. Дальше – до Петровского Яма в леспромхоз Верхневьгский. Там нас распределили по лесопунктам. Я попал в Тайгенцы, а дальше в Конжезеро. Работал в «инструменталке» пилоправом, точил пилы, топоры, делал лучковые пилы, топорища. Денег не платили, только кормили. Жили впятером. Перед тем, как выдать документы, опять были допросы, запугивания. Только летом уехали военные, а мы остались. Потом перевели в Тайгенцы, затем в Петровский Ям, где осваивали первые электропилы. Я стал работать электромехаником на электростанции.

Там на обрубке сучьев работали военнопленные немцы. Был там один пилоправ немец, из лагеря поблизости, толковый мужик, считавшийся «главным антифашистом», и я иногда приглашал его к себе обедать.

В 1948 году я познакомился на танцах с девушкой Надеждой. Она окончила техникум в Тотьме и работала приемщиком. 11 июля праздновали сразу две свадьбы (10 числа я родился, 11-го женился, 12-го, наверное, помру). На следующий год 1 мая родилась дочь. Вторая дочь родилась в октябре 51-го, сын – 1 мая 1965 года. Сейчас один внук в третьем классе, два внука уже отслужили армию.

В 1951 году прошел в Архангельске курсы на главных механиков леспромхозов, но после окончания главным не назначили – «дело врачей». (Но это – между прочим.)

В 1957 году приняли в партию в Медгоре. Меня представлял первый секретарь райкома Мартынов Петр Иванович. Он сказал: «Вы знаете, что это за человек? Он Гитлера победил!» Вот такие дела...

*Семен Ионович замолчал. Помолчим и мы, ибо кто и что в присутствии Семена Ионовича Бекенштейна может сказать?*

*Из серии*  
**«БИБЛИОТЕЧКА ГАЗЕТЫ «ОБЩИННЫЙ ВЕСТНИК»**  
*вышли в свет:*

**Бен Гирш.** Азбука иудаизма  
**Дмитрий Цвибель.** Время любить  
Из еврейской поэзии. Сост. **Иосиф Гин**  
**Нохим-Залманович.** Еврейские пословицы  
**Давид Генделев.** Из истории еврейской  
общины Петрозаводска  
Имена и судьбы. Сост. **Юлия Генделева**  
**Залман Кауфман.** «Невыдуманные рассказы»  
**Евреи Карелии.** Сост. М.Бравый, И.Шегельман, Я.Бравый  
**Залман Кауфман.** Зяма.